

Ф.М. Достоевский

ДВОЙНИК

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОЭМА

ГЛАВА 4

День, торжественный день рождения Клары Олсуфьевны, единородной дочери статского советника Берендеева, в оно время благодетеля господина Голядкина. День, ознаменовавшийся блистательным, великолепным званым обедом, таким обедом, какого давно не видали в стенах чиновничьих квартир у Измайловского моста и около, — обедом, который походил более на какой-то пир вальтасаровский,* чем на обед, — который отзывался чем-то вавилонским в отношении блеска, роскоши и приличия, с шампанским-кликко, с устрицами и плодами Елисеева и Милютиных лавок,** со всякими упитанными тельцами и чиновною табелью о рангах, — этот торжественный день, ознаменовавшийся таким торжественным обедом, заключился блистательным балом, семейным, маленьким, родственным балом, но всё-таки блистательным в отношении вкуса, образованности и приличия. Такие балы, более похожие на семейные радости, чем на балы, могут лишь даваться в таких домах, как например дом статского советника Берендеева. Скажу более: я даже сомневаюсь, чтоб у всех статских советников могли даваться такие балы. О, если бы я был поэт! — разумеется, по крайней мере такой, как Гомер или Пушкин; с меньшим талантом соваться нельзя — я бы непременно изобразил вам яркими красками и широкою кистью, весь этот торжественный день. Я бы начал свою поэму обедом, и особенно бы налёг на то поразительное и вместе с тем торжественное мгновение, когда

* Вальтасар — последний вавилонский царь; вальтасаровский — роскошный, беззаботный.

** Елисеев и Милютин — владельцы крупнейших в то время в Петербурге магазинов деликатесных продуктов.

поднялась первая задравная чаша в честь царицы праздника. Я изобразил бы вам, во-первых, этих гостей, погружённых в благоговейное молчание и ожидание. Потом изобразил бы Андрея Филипповича, как старшего из гостей, имеющего даже некоторое право на первенство, украшенного сединами и приличными сединами орденами, вставшего с места и поднявшего над головою задравный бокал с искромётным вином, — вином, нарочно привозимым из одного отдалённого королевства, чтоб запивать им подобные мгновения, — вином, более похожим на божественный нектар, чем на вино. Я изобразил бы и счастливых родителей царицы праздника, поднявших тоже свои бокалы вслед за Андреем Филипповичем и устремивших на него полные ожидания очи*. Я изобразил бы, как этот часто поминаемый Андрей Филиппович, уронив сначала слезу в бокал, проговорил поздравление и пожелание, провозгласил тост и выпил за здравие... Но, сознаюсь, вполне сознаюсь, не мог бы я изобразить всего торжества той минуты, когда сама царица праздника, Клара Олсуфьевна, краснея, как вешняя роза, румянцем блаженства и стыдливости, от полноты чувств упала в объятия нежной матери, как прослезилась нежная мать и как зарыдал при сём случае сам отец, маститый старец и статский советник Олсуфий Иванович, лишившийся употребления ног на долговременной службе и вознаграждённый судьбою за таковое усердие капиталцем, домком, деревеньками и красавицей дочерью, — зарыдал как ребёнок и провозгласил сквозь слёзы, что его превосходительство благодетельный человек. Я не мог бы изобразить вам последовавшего за сей минутой всеобщего увлечения сердец, — увлечения, ясно выразившегося поведением одного юного регистратора, тоже прослезившегося, внимая Андрею Филипповичу. В свою очередь Андрей Филиппович в это торжественное мгновение вовсе не походил на коллежского советника и начальника отделения в одном департаменте, — нет, он казался чем-то другим... я не знаю только, чем именно, но он был выше! Для чего я не обладаю тайною слога высокого,

* Иронически использованная цитата из гл. XI первого тома «Мёртвых душ»: «...зачем всё, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?»).

сильного, торжественного, для изображения всех этих прекрасных и назидательных моментов человеческой жизни, как будто нарочно устроенных для доказательства, как иногда торжествует добродетель над неблагонамеренностью, вольнодумством, пороком и завистью! Я только укажу вам на счастливого юношу, вступающего в свою двадцать шестую весну, — на Владимира Семёновича, племянника Андрея Филипповича, который встал в свою очередь с места, провозглашает тост и на которого устремлены стыдливые очи самой царицы праздника, слезящиеся очи её родителей, гордые очи Андрея Филипповича, восторженные очи гостей и даже прилично завистливые очи некоторых молодых сослуживцев этого блестящего юноши. Я не могу не заметить, что всё в этом юноше, начиная с цветущих ланит до самого ассессорского, на нём лежавшего чина, всё это в сию торжественную минуту только что не проговаривало, что, дескать, до такой-то высокой степени может благонаравие довести человека! Я не буду описывать, как Антон Антонович Сеточкин, столоначальник одного департамента, сослуживец Андрея Филипповича и некогда Олсуфия Ивановича, вместе с тем старинный друг дома и крёстный отец Клары Олсуфьевны, — старичок, как лунь седенький, в свою очередь предлагая тост, проговорил весёлые вирши, рассмешив до слёз целое общество и как сама Клара Олсуфьевна за такую весёлость и любезность поцеловала его, по приказанию родителей. Скажу только, что, наконец, гости, которые после такого обеда, естественно, должны были чувствовать себя друг другу родными и братьями, встали из-за стола; как потом старички и люди солидные, после недолгого времени, употребленного на дружеский разговор и даже на кое-какие, разумеется, весьма приличные и любезные откровенности, чинно прошли в другую комнату и, не теряя золотого времени, разделившись на партии, с чувством собственного достоинства сели за столы, обтянутые зелёным сукном; как дамы, усевшись в гостиной, стали вдруг все необыкновенно любезны и начали разговаривать о разных материях; как, наконец, сам высокоуважаемый хозяин дома, лишившийся употребления ног на службе верою и правдою и награждённый за это всем, чем выше упомянуто было, стал расхаживать на костылях между гостями

своими, поддерживаемый Владимиром Семёновичем и Кларой Олсуфьевной, вдруг решился импровизировать маленький скромный бал, несмотря на издержки; как для сей цели командирован был один расторопный юноша за музыкантами; как потом прибыли музыканты в числе целых одиннадцати штук и как, наконец, ровно в половине девятого раздались призывные звуки французской кадрили и прочих различных танцев... Нечего уже и говорить, что перо моё слабо, вяло и тупо для приличного изображения бала, импровизированного необыкновенною любезностью седовласого хозяина. Как могу я, скромный повествователь весьма любопытных в своём роде приключений господина Голядкина, — как могу я изобразить эту необыкновенную и благопристойную смесь красоты, блеска, приличия, весёлости, любезной солидности, резвости, радости, все эти игры и смехи всех этих чиновных дам, более похожих на фей, с их лилейно-розовыми плечами и личиками, с их воздушными станами, с их резво-игривыми, говоря высоким слогом, ножками? Как изображу я вам, наконец, этих блестящих чиновных кавалеров, весёлых и солидных, юношей и степенных, радостных и прилично-рассеянных, курящих в антрактах между танцами в маленькой отдаленной зелёной комнате трубку, — кавалеров, имевших на себе, от первого до последнего, приличный чин и фамилию, — кавалеров, глубоко проникнутых чувством изящного и чувством собственного достоинства, — кавалеров, говорящих большею частию на французском языке с дамами, а если на русском, то выражениями самого высокого тона, комплиментами и глубокими фразами, — кавалеров, разве только в трубочной позволявших себе некоторые любезные отступления от языка высшего тона, некоторые фразы дружеской и любезной короткости, вроде таких, например: «что, дескать, ты, такой-сякой, Петька, славно польку откалывал», или: «что, дескать, ты, такой-сякой, Вася, пришпандорил-таки свою дамочку, как хотел». На описание всего этого неукоснительно недостаёт пера моего и потому обратимся лучше к господину Голядкину, единственному, истинному герою нашей повести.

Дело в том, что он находится теперь в весьма странном, чтоб не сказать более, положении. Он тоже здесь, то есть не на бале, но

почти что на бале; стоит он теперь в сенях, на чёрной лестнице квартиры Олсуфия Ивановича. Он стоит в уголку, забившись в местечко хоть не потеплее, но зато потемнее, закрывшись отчасти огромным шкафом и старыми ширмами, между всяким дрязгом, хламом и рухлядью, скрываясь до времени и покамест только наблюдая за ходом общего дела в качестве постороннего зрителя. Он только наблюдает теперь: он тоже ведь может войти... почему же не войти? Стоит только шагнуть, и войдёт, и весьма ловко войдёт. Сейчас только, — выстаивая, впрочем, уже третий час на холоде, между шкафом и ширмами, между всяким хламом и рухлядью, — цитировал он, в собственное оправдание своё, одну фразу блаженной памяти французского министра Виллеля*, что «всё, дескать, придёт своим чередом, если выждать есть сметка». Фразу эту вычитал господин Голядкин когда-то из совершенно посторонней, впрочем, книжки, но теперь весьма кстати привёл её себе на память. Фраза, во-первых, очень хорошо шла к настоящему его положению, а во-вторых, чего же не придёт в голову человеку, выжидающему счастливой развязки обстоятельств своих почти битые три часа в сенях, в темноте и на холоде? Цитируя, как уже сказано было, весьма кстати фразу бывшего французского министра Виллеля, господин Голядкин тут же, неизвестно почему, припомнил и о бывшем турецком визире Марцимирисе, равно как и о прекрасной маркграфине Луизе, историю которых читал он тоже когда-то в книжке**. Потом пришло ему на память, что иезуиты поставили даже правилом своим считать все средства годящимися, лишь бы цель могла быть достигнута. Обнадёжив себя немного подобным историческим пунктом, господин Голядкин сказал сам себе, что, дескать, что иезуиты? Иезуиты все до одного были величайшие дураки, что он их всех заткнёт за пояс, что вот только бы хоть на минуту опустела буфетная (та комната, которой дверь выходила прямо в сени, на чёрную лестницу, и где господин Голядкин находился теперь), так он, несмотря на всех иезуитов, возьмёт — да прямо и пройдёт,

* Жозеф Виллель (1773—1854) — граф, французский политический деятель, роялист. Цитируемая фраза была политическим девизом Виллеля.

** Имеется в виду популярный лубочный роман М. Комарова «Повесть о приключении английского милорда Георга» (1782).

сначала из буфетной в чайную, потом в ту комнату, где теперь в карты играют, а там прямо в залу, где теперь польку танцуют. И пройдёт, непременно пройдёт, ни на что не смотря пройдёт, проскользнёт — да и только, и никто не заметит; а там уж он сам знает, что ему делать. Вот он и выжидает теперь, и выжидает ровно два часа с половиною. Отчего ж и не выждать? И сам Виллель выжидал. «Да что тут Виллель! — думал господин Голядкин, — какой тут Виллель? А вот как бы мне теперь, того... взять да и проникнуть?..»

— Эх ты, фигурант ты этакой! — сказал господин Голядкин, ущипнув себя окоченевшею рукою за окоченевшую щёку, — дурашка ты этакой, Голядка ты этакой — фамилия твоя такова!.. Впрочем, это ласкательство собственной особе своей в настоящую минуту было лишь так себе, мимоходом, без всякой видимой цели. Вот было он сунулся и подался вперёд; минута настала; буфетная опустела, и в ней нет никого; господин Голядкин видел всё это в окошко; в два шага очутился он у двери и уже стал отворять её. «Идти или нет? Ну, идти или нет? Пойду... отчего ж не пойти? Смелому дорога везде!» Обнадёжив себя таким образом, герой наш вдруг и совсем неожиданно ретировался за ширмы. «Нет, — думал он, — а ну как войдёт кто-нибудь? Так и есть, вошли; чего ж я зевал, когда народу не было? Этак бы взять да и проникнуть!.. Нет, уж что проникнуть, когда характер у человека такой! Эка ведь тенденция подлая! Струсил, как курица. Струсить-то наше дело, вот оно что! Нагадить-то всегда наше дело: об этом вы нас и не спрашивайте. Вот и стой здесь, как чурбан, да и только! Дома бы чаю теперь выпить чашечку... Оно бы и приятно этак было выпить бы чашечку. Позже прийти, так Петрушка будет, пожалуй, ворчать. Не пойти ли домой? Черти бы взяли всё это! Иду, да и только!» Разрешив таким образом своё положение, господин Голядкин быстро подался вперёд, словно пружину какую кто тронул в нём; с двух шагов очутился в буфетной, сбросил шинель, снял свою шляпу, поспешно сунул это всё в угол, оправился и огладился; потом... потом двинулся в чайную, из чайной юркнул ещё в другую комнату, скользнул почти незаметно между вошедшими в азарт игроками; потом... потом... тут господин

Голядкин позабыл всё, что вокруг него делается, и прямо, как снег на голову, явился в танцевальную залу.

Как нарочно в это время не танцевали. Дамы гуляли по зале живописными группами. Мужчины сбивались в кружки или шныряли по комнате, ангажируя дам. Господин Голядкин не замечал этого ничего. Видел он только Клару Олсуфьевну; возле неё Андрея Филипповича, потом Владимира Семёновича, да ещё двух или трёх офицеров, да ещё двух или трёх молодых людей, тоже весьма интересных, подающих или уже осуществивших, если по первому взгляду судить, кое-какие надежды... Видел он и ещё кой-кого. Или нет; он уже никого не видел, ни на кого не глядел... а двигаемый тою же самою пружиной, посредством которой вскочил на чужой бал непрощенный, подался вперёд, потом и ещё вперёд, и ещё вперёд; наткнулся мимоходом на какого-то советника, отдал ему ногу; кстати уже наступил на платье одной почтенной старушки и немного порвал его, толкнул человека с подносом, толкнул и ещё кой-кого и, не заметив всего этого или, лучше сказать, заметив, но уж так, заодно, не глядя ни на кого, пробираясь всё далее и далее вперёд, вдруг очутился перед самой Кларой Олсуфьевной. Без всякого сомнения, глазком не мигнув, он с величайшим бы удовольствием провалился в эту минуту сквозь землю; но что сделано было, того не воротишь... ведь уж никак не воротишь. Что же было делать? Не удастся — держись, а удастся — крепись. Господин Голядкин, уж разумеется, был не интригант и лощить паркет сапогами не мастер... Так уж случилось. К тому же и иезуиты как-то тут подмешались... Но не до них, впрочем, было господину Голядкину! Всё, что ходило, шумело, говорило, смеялось, вдруг, как бы по мановению какому, затихло и мало-помалу столпилось около господина Голядкина. Господин Голядкин, впрочем, как бы ничего не слыхал, ничего не видал, он не мог смотреть... он ни за что не мог смотреть; он опустил глаза в землю да так и стоял, дав себе, впрочем, честное слово каким-нибудь образом застрелиться в эту же ночь. Дав себе такое честное слово, господин Голядкин мысленно сказал себе: «Была не была!» — и, к собственному своему величайшему изумлению, совсем неожиданно начал вдруг говорить.

Начал господин Голядкин поздравлениями и приличными пожеланиями. Поздравления прошли хорошо; а на пожеланиях — запнулся. Чувствовал он, что если запнётся, то всё сразу к чёрту пойдет. Так и вышло — запнулся и завяз... завяз и покраснел; покраснел и потерялся; потерялся и поднял глаза; поднял глаза и обвёл их кругом; обвёл их кругом и — и обмер... Всё стояло, всё молчало, всё выжидало; немного подальше зашептало; немного поближе захохотало. Господин Голядкин бросил покорный, потерянный взор на Андрея Филипповича. Андрей Филиппович ответил господину Голядкину таким взглядом, что если б герой наш не был уже убит вполне, совершенно, то был бы непременно убит в другой раз, — если б это было только возможно. Молчание длилось.

— Это более относится к домашним обстоятельствам и к частной жизни моей, Андрей Филиппович, — едва слышным голосом проговорил полумёртвый господин Голядкин, — это не официальное приключение, Андрей Филиппович...

— Стыдитесь, сударь, стыдитесь! — проговорил Андрей Филиппович полушёпотом, с невыразимой миной негодования, проговорил, взял за руку Клару Олсуфьевну и отвернулся от господина Голядкина.

— Нечего мне стыдиться, Андрей Филиппович, — отвечал господин Голядкин также полушёпотом, обводя свои несчастные взоры кругом, потерявшись и стараясь по сему случаю отыскать в недоумевающей толпе середины и социального своего положения.

— Ну, и ничего, ну, и ничего, господа! Ну, что ж такое? Ну, и со всяким может случиться, — шептал господин Голядкин, сдвигаясь понемногу с места и стараясь выбраться из окружавшей его толпы. Ему дали дорогу. Герой наш кое-как прошёл между двумя рядами любопытных и недоумевающих наблюдателей. Рок увлекал его. Господин Голядкин сам это чувствовал, что рок-то его увлекал. Конечно, он бы дорого дал за возможность находиться теперь, без нарушения приличий, на прежней стоянке своей в сенях, возле чёрной лестницы; но так как это было решительно невозможно, то он и начал стараться улизнуть куда-нибудь в уголок да так и стоять себе там — скромно, прилично, особо, никого не затрагивая, не обращая на себя исключительного

внимания, но вместе с тем снискав благорасположение гостей и хозяина. Впрочем, господин Голядкин чувствовал, что его как будто бы подмывает что-то, как будто он колеблется, падает. Наконец он добрался до одного уголка и стал в нём как посторонний, довольно равнодушный наблюдатель, опершись руками на спинки стульев, захватив их, таким образом, в своё полное обладание и стараясь по возможности взглянуть бодрым взглядом на сгруппировавшихся около него гостей Олсуфья Ивановича. Ближе всех стоял к нему какой-то офицер, высокий и красивый малый, пред которым господин Голядкин почувствовал себя настоящей букашкой.

— Эти два стула, поручик, назначены: один для Клары Олсуфьевны, а другой для танцующей здесь же княжны Чевчехановой; я их, поручик, теперь для них берегу, — задыхаясь, проговорил господин Голядкин, обращая умоляющий взор на господина поручика. Поручик молча и с убийственной улыбкой отворотился. Осекшись в одном месте, герой наш попробовал было попытать счастье где-нибудь с другой стороны и обратился прямо к одному важному советнику с значительным крестом на шее. Но советник обмерил его таким холодным взглядом, что господин Голядкин ясно почувствовал, что его вдруг окатили целым ушатом холодной воды. Господин Голядкин затих. Он решил лучше смолчать, не заговаривать, показать, что он так себе, что он тоже, как и все, и что положение его, сколько ему кажется по крайней мере, тоже приличное. С этой целью он приковал свой взгляд к обшлагам своего вицмундира, потом поднял глаза и остановил их на одном весьма почтенной наружности господине. «На этом господине парик, — подумал господин Голядкин, — а если снять этот парик, так будет голая голова, точь-в-точь как ладонь моя голая». Сделав такое важное открытие, господин Голядкин вспомнил и о арабских эмирах, у которых, если снять с головы зеленую чалму, которую они носят в знак родства своего с пророком Мухаммедом, то останется тоже голая, безволосая голова. Потом, и, вероятно, по особенному столкновению идей относительно турков в голове своей, господин Голядкин дошёл и до туфель турецких и тут же кстати вспомнил, что Андрей Филиппович носит сапоги, похожие больше на туфли,

чем на сапоги. Заметно было, что господин Голядкин отчасти освоился с своим положением. «Вот если б эта люстра, — мелькнуло в голове господина Голядкина, — вот если б эта люстра сорвалась теперь с места и упала на общество, то я бы тотчас бросился спасать Клару Олсуфьевну. Спасши её, сказал бы ей: „Не беспокойтесь, сударыня; это ничего-с, а спаситель ваш я“. Потом...» Тут господин Голядкин повернул глаза в сторону, отыскивая Клару Олсуфьевну, и увидел Герасимыча, старого камердинера Олсуфия Ивановича. Герасимыч с самым заботливым, с самым официально-торжественным видом пробирался прямо к нему. Господин Голядкин вздрогнул и поморщился от какого-то безотчётного и вместе с тем самого неприятного ощущения. Машинально осмотрелся кругом: ему пришло было на мысль как-нибудь, бочком, втихомолку улизнуть от греха, этак взять — да и стушеваться, то есть сделать так, как будто бы он ни в одном глазу, как будто бы вовсе не в нём было и дело. Однако, прежде чем наш герой успел решиться на что-нибудь, Герасимыч уже стоял перед ним.

— Видите ли, Герасимыч, — сказал наш герой, с улыбочкой обращаясь к Герасимычу, — вы возьмите да и прикажите, вот видите, свечка там в канделябре, Герасимыч, — она сейчас упадёт: так вы, знаете ли, прикажите поправить её; она, право, сейчас упадёт, Герасимыч...

— Свечка-с? Нет-с, свечка прямо стоит-с; а вот вас кто-то там спрашивает-с.

— Кто же это там меня спрашивает, Герасимыч?

— А уж, право, не знаю-с, кто именно-с. Человек от каких-то-с. Здесь, дескать, находится Яков Петрович Голядкин? Так вызовите, говорит, его по весьма нужному и спешному делу... вот как-с.

— Нет, Герасимыч, вы ошибаетесь; в этом вы, Герасимыч, ошибаетесь.

— Сумнительно-с...

— Нет, Герасимыч, не сумнительно; тут, Герасимыч, ничего нет сумнительного. Никто меня не спрашивает. Герасимыч, меня некому спрашивать, а я здесь у себя, то есть на своем месте, Герасимыч.

Господин Голядкин перевёл дух и осмотрелся кругом. Так и есть! Все, кто был в зале, все так и устремились на него взором и слухом в каком-то торжественном ожидании. Мужчины толпились поближе и прислушивались. Подальше тревожно перешёптывались дамы. Сам хозяин явился в весьма недалёком расстоянии от господина Голядкина, и хотя по виду его нельзя было заметить, что он тоже в свою очередь принимает прямое и непосредственное участие в обстоятельствах господина Голядкина, потому что всё это делалось на деликатную ногу, но тем не менее всё это дало ясно почувствовать герою повести нашей, что минута для него настала решительная. Господин Голядкин ясно видел, что настало время удара смелого, время посрамления врагов его. Господин Голядкин был в волнении. Господин Голядкин почувствовал какое-то вдохновение и дрожащим, торжественным голосом начал снова, обращаясь к ожидавшему Герасимычу:

— Нет, мой друг, меня никто не зовёт. Ты ошибаешься. Скажу более, ты ошибался и утром сегодня, уверяя меня... осмеливаясь уверять меня, говорю я (господин Голядкин возвысил голос), что Олсуфий Иванович, благодетель мой с незапамятных лет, заменивший мне в некотором смысле отца, закажет для меня дверь свою в минуту семейной и торжественнейшей радости для его сердца родительского. (Господин Голядкин самодовольно, но с глубоким чувством осмотрелся кругом. На ресницах его навернулись слёзы.) Повторяю, мой друг, — заключил наш герой, — ты ошибался, ты жестоко, непростительно ошибался...

Минута была торжественная. Господин Голядкин чувствовал, что эффект был вернейший, он стоял, скромно потупив глаза и ожидая объятий Олсуфия Ивановича. В гостях заметно было волнение и недоумение; даже сам непоколебимый и ужасный Герасимыч заикнулся на слове «сумнительно-с»... как вдруг беспощадный оркестр ни с того ни с сего грянул польку. Всё пропало, всё на ветер пошло. Господин Голядкин вздрогнул, Герасимыч отшатнулся назад, всё, что ни было в зале, заволновалось, как море, и Владимир Семёнович уже нёсся в первой паре с Кларой Олсуфьевной, а красивый поручик с княжной Чевчехановой. Зрители с любопытством и восторгом

теснились взглянуть на танцующих польку — танец интересный, новый, модный, круживший всем головы. Господин Голядкин был на время забыт. Но вдруг всё заволновалось, замешалось, засуетилось; музыка умолкла... случилось странное происшествие. Утомлённая танцем, Клара Олсуфьевна, едва переводя дух от усталости, с пылающими щеками и глубоко волнуемою грудью упала наконец в изнеможении сил в кресла. Все сердца устремились к прелестной очаровательнице, все спешили наперерыв приветствовать её и благодарить за оказанное удовольствие, — вдруг перед нею очутился господин Голядкин. Господин Голядкин был бледен, крайне расстроен; казалось, он тоже был в каком-то изнеможении, он едва двигался. Он отчего-то улыбался, он просительно протягивал руку. Клара Олсуфьевна в изумлении не успела отдернуть руки своей и машинально встала на приглашение господина Голядкина. Господин Голядкин покачнулся вперёд, сперва один раз, потом другой, потом поднял ножку, потом как-то пришаркнул, потом как-то притопнул, потом споткнулся... он тоже хотел танцевать с Кларой Олсуфьевной. Клара Олсуфьевна вскрикнула; все бросились освобождать её руку из руки господина Голядкина, и разом герой наш был оттеснён толпою едва ли не на десять шагов расстояния. Вокруг него сгруппировался тоже кружок. Послышался визг и крик двух старух, которых господин Голядкин едва не опрокинул в ретираде*. Смятение было ужасное; всё спрашивало, всё кричало, всё рассуждало. Оркестр умолк. Герой наш вертелся в кружке своём и машинально, отчасти улыбаясь, что-то бормотал про себя, что, «дескать, отчего ж и нет, дескать, полька, по крайней мере, танец новый и весьма интересный, созданный для утешения дам... но что если так дело пошло, то он, пожалуй, готов согласиться». Но согласия господина Голядкина, кажется, никто и не спрашивал. Герой наш почувствовал, что вдруг чья-то рука упала на его руку, что другая рука немного оперлась на спину его, что его с какою-то особенною заботливостью направляют в какую-то сторону. Наконец, он заметил, что идёт прямо к дверям. Господин Голядкин хотел было что-то сказать, что-то сделать... Но нет, он уже ничего не хотел. Он только машинально отсмеивался.

* *Se retirer* (франц.) — уходить, отступать, удаляться.

Наконец, он почувствовал, что на него надевают шинель, что ему нахлобучили на глаза шляпу; наконец, он почувствовал себя в снях, в темноте и на холоде. На лестнице он споткнулся, ему казалось, что он падает в бездну; он хотел было вскрикнуть — и вдруг очутился на дворе. Свежий воздух пахнул на него, он на минутку приостановился; в самое это мгновение до него долетели звуки вновь грянувшего оркестра. Господин Голядкин вдруг вспомнил всё; казалось, все опавшие силы его возвратились к нему опять. Он сорвался с места, на котором доселе стоял, как прикованный, и стремглав бросился вон, куда-нибудь, на воздух, на волю, куда глаза глядят...